



## Глава I

**В** этот день нечего было и думать о прогулке. Правда, утром мы еще побродили часок по дорожкам облетевшего сада, но после обеда (когда не было гостей, миссис Рид кушала рано) холодный зимний ветер нагнал угрюмые тучи и полил такой пронизывающий дождь, что и речи не могло быть ни о какой попытке выйти еще раз.

Что же, тем лучше: я вообще не любила подолгу гулять зимой, особенно под вечер. Мне казалось просто ужасным возвращаться домой в зябких сумерках, когда пальцы на руках и ногах немеют от стужи, а сердце сжимается тоской от вечной воркотни Бесси, нашей няньки, и от унижительного сознания физического превосходства надо мной Элизы, Джона и Джорджианы Рид.

Вышеупомянутые Элиза, Джон и Джорджиана собрались теперь в гостиной возле своей мамы: она полулежала на диване перед камином, окруженная своими дорогими детками (в данную минуту они не ссорились и не ревели), и, очевидно, была безмятежно счастлива.

Я была освобождена от участия в этой семейной группе; как заявила мне миссис Рид, она весьма сожалеет, но приходится отделить меня от остальных детей, по крайней мере до тех пор, пока Бесси не сообщит ей, да и она сама не увидит, что я действительно прилагаю все усилия, чтобы стать более приветливой и ласковой девочкой, более уживчивой и кроткой, пока она не заметит во мне что-то более светлое, доброе и чистосердечное; а тем временем она вынуждена лишить меня всех радостей, которые предназначены для скромных, почтительных деток.

— А что Бесси сказала? Что я сделала?

— Джейн, я не выношу придирок и допросов; это просто возмутительно, когда ребенок так разговаривает со старшими. Сядь где-нибудь и, пока не научишься быть вежливой, молчи.

Рядом с гостиной находилась небольшая столовая, где обычно завтракали. Я тихонько шмыгнула туда. Там стоял книжный шкаф; я выбрала себе книжку, предварительно убедившись, что в ней много картинок. Взобравшись на широкий подоконник, я уселась, поджав ноги по-турецки, задернула почти вплотную красные штофные занавесы и оказалась таким образом отгороженной с двух сторон от окружающего мира.

Тяжелые складки пунцовых драпировок загораживали меня справа; слева оконные стекла защищали от непогоды, хотя и не могли скрыть картину унылого ноябрьского дня. Перевертывая страницы, я время от времени поглядывала в окно, наблюдая, как надвигаются зимние сумерки. Вдали тянулась сплошная завеса туч и тумана; на переднем плане раскинулась лужайка с растрепанными бурей кустами, их непрерывно хлестали потоки дождя, которые гнал перед собой ветер, налетавший сильными порывами и жалобно стелавший.

Затем я снова начинала просматривать книгу — это была «Жизнь английских птиц» Бьюика. Собственно говоря, самый текст мало интересовал меня, однако к некоторым страницам введения я, хоть и совсем еще ребенок, не могла остаться равнодушной: там говорилось об убежище морских птиц, о пустынных скалах и утесах, населенных только ими; о берегах Норвегии, от южной оконечности которой — мыса Линденеса — до Нордкапа разбросано множество островов:

...Где ледяного океана ширь  
Кипит у островов, нагих и диких,  
На дальнем севере; и низвергает волны  
Атлантика на мрачные Гебриды.

Не могла я также пропустить и описание суровых берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии, «всего широкого простора полярных стран, этих безлюдных, угрюмых пустынь, извечной родины морозов и снегов, где ледяные поля в течение бесчисленных зим намерзают одни над другими, громоздясь ввысь, подобно обледенелым Альпам; окружая полюс, они как бы сосредоточили в себе все многообразные козни сильнейшего холода». У меня сразу же сложилось какое-то свое представление об этих мертвенно-белых мирах, — правда, туманное, но необычайно волнующее, как все те, еще неясные догадки о Вселенной, которые рождаются в уме ребенка. Под впечатлением этих вступительных страниц приобретали для меня особый смысл и виньетки в тексте: утес, одиноко стоящий среди пенящегося бурного прибоя; разбитая лодка, выброшенная на пустынный берег; призрачная луна, глядящая из-за угрюмых туч на тонущее судно.

Неизъяснимый трепет вызывало во мне изображение заброшенного кладбища: одинокий могильный камень с надписью, ворота, два дерева, низкий горизонт, очерченный полуразрушенной оградой, и узкий серп восходящего месяца, возвещающий наступление вечера.

Два корабля, застигнутые штилем в недвижном море, казались мне морскими призраками.

Страничку, где был изображен сатана, отнимающий у вора узел с похищенным добром, я поскорее перевернула: она вызывала во мне ужас.

С таким же ужасом смотрела я и на черное рогатое существо, которое, сидя на скале, созерцает толпу, теснящуюся вдали у виселицы.

Каждая картинка таила в себе целую повесть, подчас трудную для моего неискушенного ума и смутных восприятий, но полную глубокого интереса — такого же, как сказки, которые рассказывала нам Бесси зимними вечерами в тех редких случаях, когда бывала в добром настроении. Придвинув гладильный столик к камину в нашей детской, она разрешала нам усесться вокруг

и, отглаживая блонды на юбках миссис Рид или плоя щипцами оборки ее ночного чепчика, утоляла наше жадное любопытство рассказами о любви и приключениях, заимствованных из старинных волшебных сказок и еще более древних баллад или же, как я обнаружила в более поздние годы, из «Памелы» и «Генриха, герцога Морландского».

И вот, сидя с книгой на коленях, я была счастлива; по-своему, но счастлива. Я боялась только одного — что мне помешают, и это, к сожалению, случилось очень скоро.

Дверь в маленькую столовую отворилась.

— Эй, ты, нюня! — раздался голос Джона Рида; он замолчал: комната казалась пустой.

— Куда, к чертям, она запропастилась? — продолжал он. — Лиззи! Джорджи! — позвал он сестер. — Джоаны нет здесь. Скажите мамочке, что она убежала под дождик... Экая гадина!

«Хорошо, что я задернула занавесы», — подумала я, горячо желая, чтобы мое убежище не было открыто, впрочем, Джон Рид, не отличавшийся ни особой зоркостью, ни особой сообразительностью, ни за что бы его не обнаружил, но Элиза, едва просунув голову в дверь, сразу же заявила:

— Она на подоконнике, ручаюсь, Джон.

Я тотчас вышла из своего уголка; больше всего я боялась, как бы меня оттуда не вытащил Джон.

— Что тебе нужно? — спросила я с плохо разыгранным смирением.

— Скажи: «Что вам угодно, мистер Рид?» — последовал ответ. — Мне угодно, чтобы ты подошла ко мне. — И, усевшись в кресло, он показал жестом, что я должна подойти и стать перед ним.

Джону Риду исполнилось четырнадцать лет, он был четырьмя годами старше меня, так как мне едва минуло десять. Это был необычайно рослый для своих лет увалень с прыщеватой кожей и нездоровым цветом лица; поражали его крупные нескладные черты и большие

ноги и руки. За столом он постоянно объедался, и от этого у него был мутный, бессмысленный взгляд и дряблые щеки. Собственно говоря, ему следовало сейчас быть в школе, но мамочка взяла его на месяц-другой домой «по причине слабого здоровья». Мистер Майлс, его учитель, утверждал, что в этом нет никакой необходимости, — пусть ему только поменьше присылают из дому пирожков и пряников; но материнское сердце возмущалось столь грубым объяснением и склонялось к более благородной версии, приписывавшей бледность мальчика переутомлению, а может быть, и тоске по родному дому.

Джон не питал особой привязанности к матери и сестрам, меня же он просто ненавидел. Он запугивал меня и тиранил; и это не два-три раза в неделю и даже не раз или два в день, а беспрестанно. Каждым нервом я боялась его и трепетала каждой жилкой, едва он приближался ко мне. Бывали минуты, когда я совершенно терялась от ужаса, ибо у меня не было защиты ни от его угроз, ни от его побоев; слуги не захотели бы рассердить молодого барина, став на мою сторону, а миссис Рид была в этих случаях слепа и глуха: она никогда не замечала, что он бьет и обижает меня, хотя он делал это не раз и в ее присутствии, а впрочем, чаще за ее спиной.

Привыкнув повиноваться Джону, я немедленно подошла к креслу, на котором он сидел; минуты три он развлекался тем, что показывал мне язык, стараясь высунуть его как можно больше. Я знала, что вот сейчас он ударит меня, и, с тоской ожидая этого, размышляла о том, какой он противный и безобразный. Может быть, Джон прочел эти мысли на моем лице, потому что вдруг, не говоря ни слова, размахнулся и пребольно ударил меня. Я покачнулась, но удержалась на ногах и отступила на шаг или два.

— Вот тебе за то, что ты надерзила маме, — сказал он, — и за то, что спряталась за шторы, и за то, что так на меня посмотрела сейчас, ты, крыса!

Я привыкла к грубому обращению Джона Рида, и мне в голову не приходило дать ему отпор; я думала лишь о том, как бы вынести второй удар, который неизбежно должен был последовать за первым.

— Что ты делала за шторой? — спросил он.

— Я читала.

— Покажи книжку.

Я взяла с окна книгу и принесла ему.

— Ты не смеешь брать наши книги; мама говорит, что ты живешь у нас из милости; ты нищенка, твой отец тебе ничего не оставил; тебе следовало бы милостыню просить, а не жить с нами, детьми джентльмена, есть то, что мы едим, и носить платья, за которые платит наша мама. Я покажу тебе, как рыться в книгах. Это мои книги! Я здесь хозяин! Или буду хозяином через несколько лет. Пойди встань у дверей, подальше от окон и от зеркала.

Я послушалась, сначала не догадываясь о его намерениях; но когда я увидела, что он встал и замахнулся книгой, чтобы пустить ею в меня, я испуганно вскрикнула и невольно отскочила, однако недостаточно быстро: толстая книга задела меня на лету, я упала и, ударившись о косяк двери, расшибла голову. Из раны потекла кровь, я почувствовала резкую боль, и тут страх внезапно покинул меня, дав место другим чувствам.

— Противный, злой мальчишка! — крикнула я. — Ты — как убийца, как надсмотрщик над рабами, ты — как римский император!

Я прочла «Историю Рима» Голдсмита<sup>1</sup> и составила себе собственное представление о Нероне, Калигуле и других тиранах. Втайне я уже давно занималась сравнениями, но никогда не предполагала, что выскажу их вслух.

— Что? Что? — закричал он. — Кого ты так называешь?.. Вы слышали, девочки? Я скажу маме! Но раньше...

<sup>1</sup> Голдсмит, Оливер (1728–1774) — английский писатель, автор романа «Векфильдский священник».

Джон ринулся на меня; я почувствовала, как он схватил меня за плечо и за волосы. Однако перед ним было отчаянное существо. Я действительно видела перед собой тирана, убийцу. По моей шее одна за другой потекли капли крови, я испытывала резкую боль. Эти ощущения на время заглушили страх, и я встретила Джона с яростью. Я не вполне сознавала, что делают мои руки, но он крикнул: «Крыса! Крыса!» — и громко завопил. Помощь была близка. Элиза и Джорджиана побежали за миссис Рид, которая ушла наверх; она явилась, за ней следовали Бесси и камеристка Эббот. Нас разняли, и до меня донеслись слова:

— Ай-ай! Вот негодница, как она набросилась на мастера Джона!

— Этакая злоба у девочки!

И наконец приговор миссис Рид:

— Уведите ее в красную комнату и запирайте там.

Четыре руки подхватили меня и понесли наверх.

## Глава II

Я сопротивлялась изо всех сил, и эта неслыханная дерзость еще ухудшила и без того дурное мнение, которое сложилось обо мне у Бесси и мисс Эббот. Я была прямо-таки не в себе, или, вернее, вне себя, как сказали бы французы: я понимала, что мгновенная вспышка уже навлекла на меня всевозможные кары, и, как всякий восставший раб, в своем отчаянии была готова на все.

— Держите ее за руки, мисс Эббот, она точно бешеная...

— Какой срам! Какой стыд! — кричала камеристка. — Разве можно так недостойно вести себя, мисс Эйр? Бить молодого барина, сына вашей благодетельницы! Ведь это же ваш молодой хозяин!

— Хозяин? Почему это он мой хозяин? Разве я прислуга?

— Нет, вы хуже прислуги, вы не работаете, вы дармоедка! Вот посидите здесь и подумайте хорошенько о своем поведении.

Тем временем они втащили меня в комнату, указанную миссис Рид, и с размаху опустили на софу. Я тотчас взвилась, как пружина, но две пары рук схватили меня и приковали к месту.

— Если вы не будете сидеть смиренно, вас придется привязать, — сказала Бесси. — Мисс Эббот, дайте-ка мне ваши подвязки, мои она сейчас же разорвет.

Мисс Эббот отвернулась, чтобы снять с дебелиой ноги подвязку. Эти приготовления и ожидавшее меня новое бесчестие несколько охладили мой пыл.

— Не снимайте, я буду сидеть смиренно! — воскликнула я и в доказательство вцепилась руками в софу, на которой сидела.

— Ну, смотрите!.. — сказала Бесси.

Убедившись, что я действительно покорилась, она отпустила меня; а затем обе стали передо мной, сложив руки на животе и глядя на меня подозрительно и недоверчиво, словно сомневались в моем рассудке.

— С ней никогда еще этого не было, — произнесла наконец Бесси, обращаясь к мисс Эббот.

— Ну, это все равно сидело в ней. Сколько раз я высказывала миссис Рид свое мнение об этом ребенке, и миссис всегда соглашалась со мной. Нет ничего хуже такой тихони! Я никогда не видела, чтобы ребенок ее лет был настолько скрытен.

Бесси не ответила; но немного спустя она сказала, обратясь ко мне:

— Вы же должны понимать, мисс, чем вы обязаны миссис Рид: ведь она кормит вас; выгони она вас отсюда, вам пришлось бы идти в работный дом.

Мне нечего было возразить ей: мысль о моей зависимости была для меня не нова, — с тех пор как я помню себя, мне намекали на нее, укор в дармоедстве стал для меня как бы постоянным припевом, мучительным

и гнетущим, но лишь наполовину понятным. Мисс Эббот поспешно добавила:

— И не воображайте, что вы родня барышням и мистеру Риду, если даже миссис Рид так добра, что воспитывает вас вместе с ними. Они будут богатые, а у вас никогда ничего не будет. Поэтому вы должны смириться и угождать им.

— Мы ведь говорим все это ради вашей же пользы, — добавила Бесси уже мягче. — Старайтесь быть услужливой, ласковой девочкой. Тогда, может быть, этот дом и станет для вас родным домом; а если вы будете злиться и грубить, миссис наверняка выгонит вас отсюда.

— Кроме того, — добавила мисс Эббот, — Бог непременно накажет такую дурную девочку. Он может поразить ее смертью во время одной из ее выходов, и что тогда будет с ней? Пойдем, Бесси, пусть посидит одна. Ни за что на свете не хотела бы я иметь такой характер. Молитесь, мисс Эйр, а если вы не раскаетесь, как бы кто не спустился по трубе и не утащил вас...

Они вышли, затворив за собой дверь, и заперли меня на ключ.

Красная комната была нежилой, и в ней ночевали крайне редко, вернее — никогда, разве только наплыв гостей в Гейтсхэд-холле вынуждал хозяев вспомнить о ней; вместе с тем это была одна из самых больших и роскошных комнат дома. В центре, точно алтарь, висела кровать с массивными колонками красного дерева, завешенная пунцовым пологом; два высоких окна с всегда опущенными шторами были наполовину скрыты ламбрекенами из той же материи, спускавшимися фестонами и пышными складками; ковер был красный, стол в ногах кровати покрыт алым сукном. Стены обтянуты светло-коричневой тканью с красноватым рисунком; гардероб, туалетный стол и кресла — из полированного красного дерева. На фоне этих глубоких темных тонов резко белела гора пуховиков и подушек на постели, застланной белоснежным пикейным покрывалом. Почти

так же резко выделялось и мягкое кресло в белом чехле у изголовья кровати, со скамеечкой для ног перед ним; это кресло казалось мне каким-то фантастическим белым тронem.

В комнате стоял промозглый холод, оттого что ее редко топили; в ней царило безмолвие, оттого что она была удалена от детской и кухни; в ней было жутко, оттого что в нее, как я уже говорила, редко заглядывали люди. Одна только горничная являлась сюда по субботам, чтобы смахнуть с мебели и зеркал осевшую за неделю пыль, да еще сама миссис Рид приходила изредка, чтобы проверить содержимое некоего потайного ящика в комодe, где хранился фамильный архив, шкатулка с драгоценностями и миниатюра, изображавшая ее умершего мужа; в последнем обстоятельстве, а именно в смерти мистера Рида, и таилась загадка красной комнаты, того заклатья, которое лежало на ней, несмотря на все ее великолепие.

С тех пор как умер мистер Рид, прошло девять лет; именно в этой комнате он испустил свой последний вздох; здесь он лежал мертвый; отсюда факельщики вынесли его гроб, — и с этого дня чувство какого-то мрачного благоговения удерживало обитателей дома от частых посещений красной комнаты.

Я все еще сидела на том месте, к которому меня как бы приковали Бесси и злючка мисс Эббот. Это была низенькая софа, стоявшая неподалеку от мраморного камина; передо мной высилась кровать; справа находился высокий темный гардероб, на лакированных дверцах которого смутно отражались бледные световые блики; слева — занавешенные окна. Огромное зеркало в простенке между ними повторяло пустынную торжественность комнаты и кровати. Я не была вполне уверена в том, что меня заперли, и поэтому, когда наконец решилась сдвинуться с места, встала и подошла к двери. Увы! Я была узницей, не хуже, чем в тюрьме. Возвращаться мне пришлось мимо зеркала, и я невольно заглянула в его глубину. Все в этой призрачной глубине предстало

мне темнее и холоднее, чем в действительности, а странная маленькая фигурка, смотревшая на меня оттуда, ее бледное лицо и руки, белеющие среди сумрака, ее горящие страхом глаза, которые одни казались живыми в этом мертвом царстве, действительно напоминали призрак: что-то вроде тех крошечных духов, не то фей, не то эльфов, которые, по рассказам Бесси, выходили из пустынных, заросших папоротником болот и внезапно появлялись перед запоздалым путником.

Я вернулась на свое место. Я уже была во власти суеверного страха, но час его полной победы еще не настал. Кровь моя все еще была горяча, и ярость восставшего раба жгла меня своим живительным огнем. На меня снова хлынул поток воспоминаний о прошлом, и я отдалась ему, прежде чем покориться мрачной власти настоящего.

Грубость и жестокость Джона Рида, надменное равнодушие его сестер, неприязнь их матери, несправедливость слуг — все это встало в моем расстроенном воображении, точно поднявшийся со дна колодца мутный осадок. Но почему я должна вечно страдать, почему меня все презирают, не любят, клянут? Почему я не умею никому угодить и все мои попытки заслужить чью-либо благосклонность так напрасны? Почему, например, к Элизе, которая упряма и эгоистична, или к Джорджиане, у которой отвратительный характер, капризный, раздражительный и заносчивый, все относятся снисходительно? Красота и розовые щеки Джорджианы, ее золотые кудри, видимо, пленяют каждого, кто смотрит на нее, и за них ей прощают любую шалость. Джону также никто не противоречит, его никогда не наказывают, хотя он душит голубей, убивает цыплят, травит овец собаками, крадет в оранжереях незрелый виноград и срывает бутоны самых редких цветов; он даже называет свою мать «старушкой», смеется над ее цветом лица — желтоватым, как у него, не подчиняется ее приказаниям и нередко рвет и пачкает ее шелковые платья. И все-таки он ее «ненаглядный сыночек». Мне